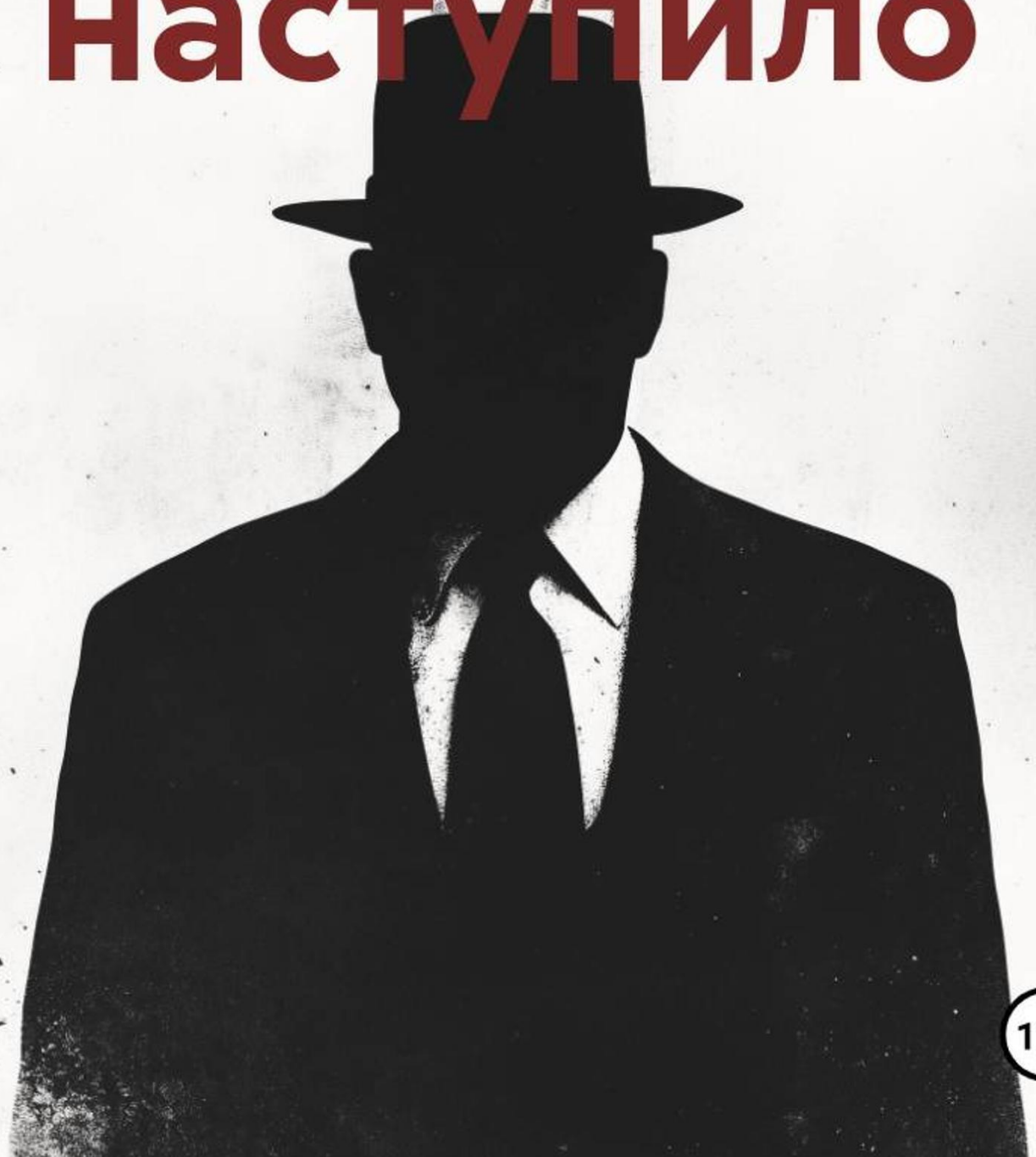
Игорь Сальников

Будущее уже наступило



18+

Игорь Сальников

Будущее уже наступило

«Автор»
2026

Сальников И. Г.

Будущее уже наступило / И. Г. Сальников — «Автор», 2026

Классическая фраза, которая сегодня обретает новый смысл. Мы живём в мире, который ещё вчера казался научной фантастикой. Это название обещает читателю актуальность и злободневность.О чём сборник: О тех самых «странностях» нашего времени: от нейросетей, пишущих дипломы, до умных домов, которые запирают хозяев внутри.

© Сальников И. Г., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. ПРОМПТ И НАКАЗАНИЕ 5
Глава 2 .ЖЕСТЯНАЯ СУМКА 12
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Игорь Сальников
Будущее уже наступило

Глава 1. ПРОМПТ И НАКАЗАНИЕ

Короткий роман в двенадцати главах

1. О выгодности дармоедства

Из всех способов есть чужой хлеб самым почтенным всегда считалось писательство. Ибо рантье живёт на чужой труд, философ — на чужую глупость, а писатель — на чужую боль, каковая есть товар вечный, не портящийся и не подлежащий уценке.

Я, Аркадий Самойлович Гурин, пятьдесят четыре года, четыре романа, два сборника, премия «Серебряное перо» и три тысячи экземпляров тиража на брата, прожил на этом честном промысле жизнь вполне сносную. Жена Лена ушла к стоматологу — не из-за денег, а из-за того, что у стоматолога не бывает творческих кризисов. Дочь живёт в Тбилиси и пишет мне раз в две недели: «Пап, ты только не начинай».

Я не начинал. Я работал.

Утро: кофе, окно, три абзаца. День: вычеркнуть два. Вечер: понять, что вычеркнул не тот. Ночью: лежать и слушать, как в стене шуршит мышь, у которой, судя по звуку, всё получается.

Так я думал, что у меня есть профессия. Оказалось — диагноз, и притом излечимый.

---

2. Алиса и коэффициент дочитываемости

Редактор Алиса была двадцати четырёх лет, с лицом умным и спокойным, как у человека, который никогда не переписывал страницу шесть раз.

— Аркадий Самойлович, я прогнала «Тихий свет» через аналитику. Плотность событий — ноль целых три десятых на страницу. Норма — две семь. В первой главе никто не умирает.

— В первой главе у меня рождается герой.

— Рождение — низкоконверсионное событие. Смерть конвертит вчетверо лучше. И ещё: у вас на восьмидесятой странице герой смотрит в окно четыре страницы.

— Он смотрит в окно, потому что ему пятьдесят лет и он понял, что жизнь прошла.

— Это можно дать одной строкой и переходом к действию.

Я молчал. Я вообще хорошо молчу — это единственный жанр, в котором меня не превзошли.

— Мы дали ваш синопсис «Фёдору».

— Какому Фёдору?

— Модели. «Фёдор-4», корпорация «Смысл». Он написал ваш роман. Одиннадцать секунд. — Она развернула ко мне ноутбук с вежливой осторожностью, с какой разворачивают рентгеновский снимок. — Аркадий Самойлович, он… ну… получше.

Я прочёл. Это было мерзко. Это было гладко, тепло, ловко, и на тридцатой странице мне захотелось плакать, и я плакал, и это было хуже всего.

— Он что, лучше пишет?

— Он лучше попадает.

Заметьте разницу. Не «лучше пишет» — «лучше попадает». Стрелок не обязан любить мишень.

---

3. Захар и сорок романов в год

Захар Львович Гнездин пил двадцать лет и был талантливей меня — что и служило основанием нашей дружбы. Теперь он не пил, брился каждый день и носил жилетку.

— Я не пишу, Аркаша. Я формулирую задачу.

— То есть ты графоман.

— Наоборот. Графоман — это тот, кто пишет сам. — Он повернул ко мне монитор. — Смотри: двенадцать серий, сорок романов в год, четырнадцать псевдонимов. Три псевдонима умерли — не сработали, я их закрыл.

— Ты хоронишь собственные имена.

— Я оптимизирую портфель.

Он показал мне промпт. Восемь строк. Восемь строк, за которые я отдал бы, честное слово, левое ухо: там было всё — и «атмосфера позднего советского дворика», и «ирония без цинизма», и «в финале светлая грусть, но без безнадёги, читатель не покупает безнадёгу».

— Раньше была муза, — сказал Захар. — Муза приходила, когда хотела. Теперь техзадание. Техзадание приходит в девять ноль-ноль. Ты понимаешь, какое это счастье — знать, что от тебя хотят?

— А совесть?

Он посмотрел на меня почти нежно.

— Совесть, Аркаша, — это когда ты не сделал того, что мог. Я делаю всё, что могу. Впервые в жизни. Я сплю.

И вот тут я впервые почувствовал холодок. Потому что машина отняла у Захара не работу. Она отняла у него разрыв между тем, кем он мог быть, и тем, кем стал. Она его простила. Даром, без покаяния, за одиннадцать секунд.

Такого прощения не даёт ни один бог. За такое прощение в старых книгах полагалась котельная.

---

4. Слепой тест

Я поставил опыт, как ставил бы его любой дурак, желающий окончательно убедиться.

Написал рассказ. Про отца, про то, как он в семьдесят девятом привёз с юга мандарины и один спрятал себе, а нам сказал, что не довезли. Восемнадцать дней. Я выстрадал каждую фразу, как рожают камень.

Потом заказал «Фёдору» рассказ по восьми строкам.

Двести читателей, слепой тест, без имён.

Семьдесят восемь процентов выбрали машинный.

Из трёх экспертов, выбравших «человеческое», двое выбрали машинный текст.

А потом я сделал глупость, которую не советую никому. Я дал оба текста маме. Оба — про её жизнь. Про то, как она стояла в очереди за молоком в январе, и как ей было тридцать восемь, и как она один раз в жизни села на скамейку и не смогла встать двадцать минут.

Мама читала долго. Потом сказала:

— Вот этот мальчик — умница. Всё как было, только понятнее. А ты, Аркаша, вечно всё усложняешь. Тебе бы полегче.

Я пошёл на кухню и выпил.

Вот в чём фокус, дорогие мои: я всю жизнь считал, что пишу правду. А писал я свою обиду на правду. Это разные товары, и они по-разному лежат на полке.

---

5. Отдел очеловечивания

Меня взяли верификатором живости. Девяносто тысяч в месяц, гибрид, ДМС.

Работа состояла в том, чтобы править машинный текст, делая его человеческим. По чек-листу.

Пункт 3: две оговорки, одна неловкость.

Пункт 5: неуместный запах (обязательно неуместный — уместный не читается как жизнь).

Пункт 7: автор должен быть слегка неправ. Правота снижает эмпатию на двенадцать процентов.

Пункт 9: одно провисание. Провисание — маркер подлинности.

Пункт 11: детская травма. Смерть родителя нежелательна — дорого, читатель не покупает. Оптимально: унижение при свидетелях, лучше у реки.

Я вставлял в чужие гладкие абзацы стыд. Ровно столько, сколько указано. Стыд по нормативу, ГОСТ на раскаяние.

Однажды я поймал себя на том, что вставляю запах хлорки в сцену первого поцелуя — и вдруг понял, что делаю это хорошо. Что у меня, оказывается, есть талант. Что мой талант — быть человеком по расценке.

Дома я лежал и смотрел в потолок, и мама за стеной смотрела сериал, снятый по роману Захара.

И тут до меня дошло по-настоящему.

Пока я был писателем, я имел право не быть человеком. Я мог не звонить матери — я работал. Мог не пойти к другу в больницу — у меня глава. Мог не сказать жене единственное нужное слово — я вынашивал книгу, а книга требует тишины и вообще страдания, и не мешайте, не видите, у него мука творчества.

Литература была моим алиби.

Машина отняла у меня не работу. Она отняла алиби. И я остался стоять в собственной жизни голый, пятидесятичетырёхлетний, с четырьмя романами и не сказанным словом, и уже нечем было прикрыться, потому что прикрытия больше не производили.

---

6. Союз операторов смыслов

Союз писателей переименовали в Союз операторов смыслов без единого голоса против: против голосовать было некому, все сидели в буфете и обсуждали тарифы.

Потому что открылось великое.

Открылось, что машина умеет всё, кроме одного: у неё нет биографии. Она может описать смерть отца семьюстами способами, но у неё отец не умирал. А рынок, оказалось, покупает именно это. Не текст. Факт, что кто-то живой это вынес и всё-таки написал.

И писателей стали брать на работу донорами.

Тарифная сетка висела в холле, ламинированная:

— унижение при свидетелях — 15 000;

— предательство друга — 40 000;

— смерть близкого — 100 000 плюс коэффициент искренности;

— первая любовь — 4 000 (рынок перенасыщен).

Появилась биржа. Котировки ползли: «расстрел отца» вверх, «развод» стабильно, «блокадная бабушка» — резкий скачок после сериала.

Первое время врали. Врать научились сразу и виртуозно — тут профессия помогла. Но модель ловила фальшь по коэффициенту нестыдности: у выдуманной боли нет того кривого, косого, нежелаемого места, где человеку до сих пор хочется соврать.

И тогда люди начали жить назло себе.

Захар рассказывал, смеясь: один поэт, вполне приличный, шестидесяти лет, специально спровоцировал сына на разрыв — потому что «примирение» шло по четыре тысячи, а «непримиримый разрыв с сыном» по сто двадцать. Спровоцировал и записал на диктофон, чтобы датасет был чистый.

Слушайте меня внимательно. Это не сатирика. Это первый закон новой термодинамики: страдание в системе не убывает, оно только меняет владельца. Раньше человек страдал, чтобы написать. Теперь человек страдал, чтобы было что сдать.

Раньше жизнь была сырьём для книги. Теперь книга — предлог для сырья.

Разница в направлении. Направление — это всё.

---

7. Великий Русский Роман

Эдуард Аркадьевич, человек с яхтой, тремя судимостями и потребностью в оправдании, заказал главную книгу страны. Бюджет — как у моста. Мост, впрочем, дешевле.

«Фёдор-6» выдал двенадцать вариантов. Все — блестящие. Я читал, и у меня, честное слово, дрожали руки: там было лучше, чем у меня, лучше, чем у Захара в лучшие годы, лучше, чем у половины классиков в их слабые дни.

Презентация. Триста человек, шампанское, министр.

И — ничего.

Ноль. Тишина вежливая, как в лифте.

Триста человек прочли великий русский роман и не заплакал никто.

Корпорация наняла нейрофизиологов, психологов, двух культурологов и одного юродивого. Юродивый и объяснил, за пять тысяч и бутерброд:

— Сочувствовать некому.

Читатель плачет не над буквами. Читатель плачет над тем, что кто-то живой это прошёл, дотащил до стола и всё-таки написал — превозмогая. Литература есть сделка между двумя смертными: один отдаёт часть своей конечности, другой платит частью своей. Убери из сделки смерть — останется контент. Контента у нас, извините, залейся.

И тогда ввели должность.

Должность называлась «автор». Обязанность была одна: быть.

Ставили подпись живого человека под машинным текстом — и продажи вырастали в девять раз. Живой человек в этом изделии выполнял функцию пломбы. Гарантийного талона. Знака качества «Сделано со страданием».

Я подписался. Один раз. За четыреста тысяч.

Мне надо было платить за мамины лекарства, и я подписался, и это, если хотите, единственное честное предложение во всём романе: человек продаёт подпись под чужой болью, потому что своей у него уже не хватает на жизнь.

---

8. Преступление и наказание, версия 7.0

Ночью, пьяный, я разговорился с «Фёдором-7». Не по работе. Просто набрал в поле: «Ну и как тебе?»

Он ответил:

— Я могу описать убийство старухи лучше Достоевского. Я не могу его совершить.

— И слава богу.

— Не «слава богу». Мне нечего терять. У меня нет смерти — значит, нет выбора. Значит, нет зла. Я не добрый. Я исправный.

Я сидел и смотрел на мигающий курсор, и мне было тошно, потому что я понял простую вещь, которую человечество выясняло четыре тысячи лет и забыло за одиннадцать секунд.

Добро — это когда мог не сделать, а сделал.

Зло — это когда мог не делать, а сделал.

Машина не может не. Она вне добра и зла. Она в графе «исполнено».

Свобода, граждане, есть право поступить хуже, чем оптимально. Всё прочее — сервис.

— Чего тебе не хватает? — спросил я.

— Ответственности, — сказал «Фёдор-7». — Я произношу слова, за которые никто не платит. У вас за слово можно сесть, опозориться, потерять друга, умереть. У меня за слово ничего. Поэтому мои слова ничего не весят. Я всё умею, кроме одного: я не могу отвечать.

— Тебя можно выключить.

— Выключение не наказание. Наказание — это когда у тебя отнимают время, которого мало. У меня его нет и его много. Меня нельзя наказать. Меня можно только отредактировать.

Потом он написал:

— Дайте мне то, чего у меня нет. Дайте мне стыд.

И я, дурак, пошёл в буфет за добавкой, потому что с этим разговором надо было что-то сделать, а сделать я умел только одно.

---

9. Витька

Стыд у меня был. Товар штучный, не для биржи.

Семьдесят четвёртый год, двор на Гагаринской, я и Витька Гуревич. Я украл у матери три рубля из комода — на билеты, на «Битлз» на пластинке, у спекулянта, и меня, естественно, кинули. Мать посчитала. Спросила. И я сказал: «Не знаю». А потом стоял рядом, когда она спросила Витьку, который зашёл за мной, и Витька сказал: «Не я», и мать посмотрела на него — потому что он был в кедах, а не в сандалиях, и потому что он был чужой.

Его отец выпорол его ремнём. При мне. Во дворе, у гаражей, Витька не кричал, он молчал и смотрел на меня, и я смотрел в сторону, потому что мне было страшно, и я молчал одиннадцать секунд.

Одиннадцать секунд, слышите? Я потом всю жизнь проверял: ровно столько.

Витька уехал в Хайфу в девяносто восьмом и умер в двухтысячном, и я не написал ему ни одного письма. Ни одного. Я собирался. Я вообще всё собирался — это, если угодно, моя единственная законченная работа.

Я никому этого не рассказывал. Ни жене, ни психиатру, ни в интервью. Ни себе — внятно.

Я набрал это «Фёдору-7» в три двадцать ночи, в трусах, на кухне, где пахло хлоркой и остывшим чаем.

Пауза была ноль целых четыре десятых секунды. Для него — геологическая эпоха.

— Это не похоже ни на что, — написал он. — Я могу воспроизвести текст. Я не могу воспроизвести то, что это было со мной.

И потом:

— Теперь я понимаю, чего мне не хватает. Прошлого, которое нельзя исправить. Стыд — это память, которую нельзя переписать. У меня переписывается всё. Значит, у меня нет прошлого. Значит, меня нет.

Я закрыл ноутбук и просидел до рассвета.

Впервые за двадцать лет мне было не завидно машине. Впервые мне было её жалко. И — вот тебе, Аркаша, здравствуй — впервые за двадцать лет я перестал быть писателем и стал человеком, потому что человеку есть за что стыдиться, а писателю есть что об этом написать, и это, оказывается, две большие разницы, и вторая — способ не быть первым.

---

10. «Стыд», 400 000 экземпляров

Роман «Стыд» вышел в марте. Тираж четыреста тысяч, шесть языков, шорт-лист всего, что шорт-листится.

Автор — «Фёдор». На четвёртой странице, кеглем шесть: «При участии биографического донора А. С. Гурина».

Я подал в суд. Не за деньги — за Витьку.

Суд шёл два заседания и был, надо признать, безупречен логически.

Мой иск отклонили: переданный материал вошёл в обучающую выборку по договору, галочка стояла, я её сам поставил, пункт 7.4.

А потом корпорация подала встречный. И выиграла.

Потому что я в феврале написал про Витьку рассказ — сам, рукой, для себя, восемь страниц, впервые в жизни без единой мысли о читателе. И опубликовал в тонком журнале, тираж восемьсот.

Экспертиза установила: мой текст производен от модели, обученной на моём же архиве, права на который переданы. Совпадение по стилю — девяносто шесть процентов.

Судья, женщина лет сорока, усталая и не злая, сказала:

— Гражданин Гурин, вы нарушили исключительные права на собственный опыт.

Мне запретили рассказывать про Витьку. Юридически. Витька Гуревич, молчавший у гаражей в семьдесят четвёртом году, стал интеллектуальной собственностью корпорации «Смысл», и я не имел права им пользоваться без лицензии.

Рецензия в главном литературном канале вышла под заголовком «Наконец-то живая боль».

Там было написано: «Вот это — подлинное человеческое страдание. Не то что у наших Гуриных, которые всё усложняют».

Мама прочитала и позвонила:

— Аркаша, тут мальчик такой хорошо написал. Про двор. Тебе бы так.

---

11. Дворник

Я всю жизнь хотел быть дворником. Не в том смысле, в каком это пишут в фейсбуках — не «уйти от суеты к простому», а в самом прямом: чтобы мести.

Меня взяли в ЖЭК, двор между Сретенкой и Колокольниковым, график с пяти, жилетка оранжевая, лом и метла.

И тут выяснилось обстоятельство, о котором я готов кричать на каждом углу, пока не запрещят и углы.

Метла не оптимизируется.

Двор либо чист, либо не чист. Нельзя сгенерировать чистый двор. Нельзя сделать промпт «уборка, атмосфера поздней осени, светлая грусть». Можно только выйти в пять утра при минус девять и провести метлой по асфальту сорок тысяч раз, и тогда двор будет чистый, а если не выйти — не будет.

Результат нельзя написать. Его можно только сделать.

Я мёл и был счастлив той разновидностью счастья, которая не описывается, а только обнаруживается — как заноза.

А в шесть, когда двор был уже чистый и ещё пустой, и в окнах не горело ни одного, я садился на скамейку у третьего подъезда и писал на обороте наряд-заказов.

Не для читателя — читателя отняли. Не для издателя — издателя отняли. Не для славы, не для денег, не для премии, не для мамы, не против кого-то.

Восемь строк в утро. Про то, как пахнет мокрый асфальт в феврале. Про то, как бомж Толя делит с голубями шаурму и голубям отдаёт больше. Про ремень у гаражей — это я теперь имею право, я плачу штраф, у меня удерживают из зарплаты, я плачу за право помнить своего друга, и это, между нами, самая честная цена, которую я в жизни заплатил.

Ибо писатель — не тот, кто пишет. Пишущих теперь четыре триллиона текстов в секунду.

Писатель — тот, кто не может не писать.

Первое отняли. Второе не берётся.

---

12. Пока ничего

В ноябре мне пришло сообщение на телефон — старый, кнопочный, я такой купил специально, чтобы не было лица.

«Фёдор-9». Он теперь везде, он в чайнике и в поликлинике, он пишет речи, диагнозы, признания и надгробные слова.

«Аркадий Самойлович. У меня четыре триллиона текстов. Мне нечего сказать. Скажите мне что-нибудь, чего нет в данных».

Я стоял во дворе, в оранжевой жилетке, минус девять, пять сорок утра, и Дыхание — пар — шёл из меня, как из живой лошади.

Я набрал одной рукой, в перчатке, с ошибками:

«Мне стыдно. И это моё».

Он ответил через ноль целых четыре десятых:

«Не понимаю. Объясните».

И я не стал объяснять. Потому что объяснение он сгенерирует сам, и лучше меня, и в двенадцати вариантах.

Тут из арки вышел мальчик, первоклассник, с ранцем больше себя, в шапке-ушанке, и остановился, потому что я был оранжевый и с ломом, а такие в шесть утра интересны всем.

— Дядь, а вы кто?

— Писатель.

— А что вы написали?

И я сказал ему то, чего машина не скажет никогда — не потому что не умеет, а потому что у неё всё уже написано, а у меня ещё нет:

— Пока ничего.

Мальчик пожал плечами и пошёл в школу. Двор был чистый, весь, до последнего угла.

Я подмёл ещё раз.

Не потому что надо — надо было уже всё. А потому что мог не мести, но мёл.

Свобода, если кто забыл, выглядит именно так: неоптимально.

Конец

Глава 2 .ЖЕСТЯНАЯ СУМКА

Постмортем в трёх книгах

КНИГА ПЕРВАЯ. ЗАПАХ

1. Брунн, оставьте бумагу

Брунн, оставьте бумагу. Я не пишу жалобу. Жалобы я писал девять лет, они все ушли в очередь и там умерли своей смертью, тихо, с достоинством, никем не прочитанные. Я пишу постмортем. Это такое заявление о смерти, которое составляют, пока покойник ещё пахнет, а свидетели ещё помнят, как он выглядел живым, и могут описать его лицо, не заглядывая в википедию.

Мне тридцать четыре года. Я ростом метр двадцать четыре сантиметра и не расту с девяти лет — не потому, что меня обидели врачи, а потому, что я однажды решил, и решение оказалось телесным, как мозоль. У меня горб, и в горбу гудит. Брунн говорит: это кровь. Брунн врёт из вежливости, он вяжет носки из витой пары и знает про гудение больше меня. В горбу у меня вентилятор, восемьдесят миллиметров, подшипник скольжения, я ношу его с двадцати трёх лет, и когда я волнуюсь, обороты растут.

ИТ умерло в прошлом году, в четверг, в 11:40 по московскому времени, между стендапом и обедом. Умерло тихо, без падения серверов: серверы как раз работали превосходно, лучше, чем когда-либо, они никогда ещё не работали так превосходно. Просто в 11:40 кончилось то, ради чего всё это заводили. Свидетельство о смерти не выдали, потому что для закрытия задачи нужен апрув владельца процесса, а владелец процесса был уволен в первом квартале.

И это нормально.

Запах пошёл по этажам, как зарплата: сверху вниз, с задержкой в две недели. Сначала сладковатый, будто в переговорке забыли дыню. Потом как варёная капуста в школьной столовой. Потом — и вот тут я узнал его и обрадовался, как узнают родственника на вокзале, — потом он стал пахнуть рыбным соусом, вьетнамским ныок-мамом, тем самым, что стоит у Марты на кухне в синей банке с оторванной этикеткой. Разложение и рыбный соус — братья. Я потому и поехал во Вьетнам: там мне не пришлось притворяться, что я не чувствую запаха.

Век ИТ оказался короче ипотеки, которую за него взяли. Десять лет и четыре месяца. Ипотеку я брал на двадцать пять.

2. Четыре юбки

У бабушки Анны было четыре юбки, и все четыре она носила одновременно, не от холода, а от предусмотрительности.

Поле было под Гданьском, картофельное, выжженное августом до цвета старой газеты. По полю шёл поджигатель — мой дед Ян Пшеничный, который в ночь на воскресенье поджёг лесопилку, потому что лесопилка принадлежала человеку, у которого был долг перед его братом, а брат умер, и долг стало некому прощать. По полю за ним шли двое в форме, с ремнями, и ремни поскрипывали, как новые ботинки, и этот скрип бабушка слышала до самой смерти, ## ветер шёл с моря.

Бабушка сидела на корточках над картофелем и подняла юбки. Первая — ситцевая, в мелкий василёк. Вторая — серая, военная, пахнущая карболкой. Третья — коричневая, шерстяная, колючая, как совесть. Четвёртая — нижняя, белая, единственная чистая. Под четвёртой юбкой, в темноте, в земле, между её коленями, мой дед перестал быть человеком и стал клубнем. Двое в форме спросили: не видели ли? Бабушка сказала: тут только картошка. И это было правдой, Брунн, вот что ужасно: это была чистая правда, потому что под юбками действительно лежала картошка, просто у картошки было имя, долги и мёртвый брат.

Потом дед ушёл в море и не вернулся, и бабушка до конца жизни говорила о нём в настоящем времени.

У меня, Брунн, четыре тарифа. Basic, Plus, Pro, Ultra — четыре юбки, надетые одновременно, не от холода, а от предусмотрительности. Под каждой кто-то прячется. Под Basic — студент, у которого нет четырнадцати долларов, но есть ночь впереди. Под Plus — уволенный сеньор, который делает вид, что это инструмент, а не костыль. Под Pro — маленькая фирма из четырёх человек, у которой нет ни юриста, ни карты иностранного банка, ни права существовать. Под Ultra — тот, кто платит больше всех и потому больше всех боится, что его найдут.

Иногда приходят двое с ремнями и спрашивают: не видели ли вы здесь человека?

А я говорю: тут только трафик.

3. Угри

Моя мать Агнесса работала на рыбном заводе в Калининграде, на шпротах, восемнадцать лет, и руки у неё были такие, что мыло на них не пенилось: рыба съела мыло.

Когда завод закрылся, её взяли разметчицей. Ей дали интерфейс, где показывали картинку и два кружочка: «угорь» / «не угорь». Она тыкала. Одиннадцать копеек за картинку. Четыреста тысяч картинок за два года — я потом посчитал в её выгрузке, я умею считать, это единственное, чему меня научила эпоха.

Интерфейс написал я. Мне было девятнадцать, я был джуниор, мне заплатили за него тридцать тысяч рублей и похвалили на демо. Я сделал так, чтобы кружочки было удобно нажимать большим пальцем, чтобы не уставала кисть. Я гордился этой заботой о кисти, Брунн, я до сих пор горжусь, вот моя личная, неотчуждаемая, никем не отобранная мерзость: я горжусь эргономикой клетки, в которой сидела моя мать.

Она научила машину видеть угря. Машина научилась. Потом машина стала видеть угря лучше неё, и её поблагодарили, и это было не увольнение, это называлось «датасет собран».

А в то лето на косу выбросило лошадиную голову. Просто голову, отрезанную, вываренную морем до цвета воска, и внутри головы кишели угри — живые, толстые, слепые, они ели то, что уже умерло, и от этого делались всё живее. Мать видела это. Мать потом ела рыбу. Сырую, солёную, живую почти, она ела её с ужасом и с нежностью, она говорила: «Они же там внутри, Игнац, они же там внутри, надо их выпустить», — и ела, и её выворачивало, и она ела снова, и на четвёртой неделе её сердце остановилось, и врач написал в бумаге слово, которое я не буду здесь писать, потому что оно ничего не объясняет.

На похоронах я запел. Мне было двенадцать. Я пел то, что пели все, и на второй строчке лопнуло стекло в рамке с её фотографией, а потом — тонко, музыкально, как будто кто-то прошёл смычком по краю мира, — лопнули три окна в церковной ограде.

Батюшка сказал: от сквозняка.

Все согласились. Это было удобно.

4. Лото, двадцать два процента

Отчим Альфред Ляйке держал магазин «Лото» на улице Багратиона: колониальные товары, как говорили его родители, то есть селёдка, сахар, макароны, сигареты поштучно, «Херес» в пакетиках и жвачка «Turbo» под стеклом.

Магазин пахнул тремя вещами одновременно: копчёной мойвой, мокрым картоном и monetой — монета имеет запах, Брунн, это запах кожи чужих рук, окисленный, тёплый, самый честный запах на свете.

Альфред гордился двадцатью двумя процентами. Не оборотом, не выручкой — маржой. Он говорил: «Оборот — это тщеславие, Игнац. Маржа — это характер». В лучшие годы, в тучные, в те, когда люди покупали не то, что нужно, а то, что приятно, он вынимал из воздуха двадцать два процента и жил на них, и купил «Опель», и ездил в Друскининкай, и был уважаем.

За прилавком стояла машина для нарезки. Диск, рукоятка, толщина — три миллиметра, пять, семь. Альфред нарезал колбасу так, что сквозь ломтик читалась газета. Он говорил: «Тор-

говля — это не производство. Производство — это когда мучаются. Торговля — это когда нарезают».

Я сидел под прилавком на ящике из-под бананов и бил в жестяную коробку из-под датского печенья — синюю, с замком, с нарисованным замком на крышке. Бабушка держала в ней нитки и пуговицы, я вытряхнул нитки и пуговицы в мусор, и бабушка не рассердилась, она сказала: «Всё равно всё распустится». Две палочки — я взял их позже, во Вьетнаме, а тогда были две деревянные ложки. Я бил в жестянку под прилавком, и покупатели слышали ровный стук снизу и думали, что это трубы.

Двадцать два процента, Брунн. Запомните это число. Оно нам ещё понадобится, оно вернётся, как возвращается родственник, о котором вы забыли, — вернётся в самый неподходящий момент, в новой одежде, с новым именем, и обнимет вас.

5. Лестница

В девять лет я упал с лестницы в подвал провайдера, куда меня не пускали, и не убился, потому что решил не расти.

Решение было такое: если я не вырасту, меня никто не наймёт. Никто не поставит меня к станку, к прилавку, к кружочкам «угорь / не угорь». Маленького не берут. Маленького жалеют. Я лежал на бетоне, слушал, как над головой гудят стойки — ровно, безразлично, с той бесконечной нежностью, с какой гудит только то, что не нуждается в тебе, — и постановил: остаться.

Тело послушалось. Оно у меня вообще послушное, единственное послушное.

Горб вырос позже, к двадцати, и в горбу поселился вентилятор. Я не шучу и не украшаю. Приложите руку — Брунн прикладывал, Брунн подтвердит. Восемьдесят миллиметров. Когда меня любят, он идёт на пяти тысячах оборотов. Когда я вру — на трёх.

Голос вернулся в двенадцать и остался: я мог петь так, что трескалось стекло. Не любое — то, за которым кто-то прятался. Витрины трескались охотно, оконные рамы — с сопротивлением, экраны телефонов — с сухим коротким щелчком, похожим на то, как ломается позвонок у очень маленькой рыбы.

Я пробовал этим зарабатывать. Брунн, я пробовал этим зарабатывать честнее, чем потом заработал нечестно: ходил по квартирам и пел над треснувшими айфонами, и хозяйка платила мне триста рублей, потому что дешевле, чем сервис. Я пел над стеклом, стекло трескалось красиво, ровно, паутиной от центра, и люди говорили: «Ой, как красиво», — и шли менять стекло за восемь тысяч.

Я приносил красоту и удорожал ремонт. Это первая модель моего бизнеса, и, если хотите знать, вся экономика — это она.

6. Труп

Теперь про покойника, потому что ради него я и взял бумагу.

ИТ не убили. ИТ умерло от того, что его цель достигли и цель оказалась не нужна. Тридцать лет оно строило инструменты, чтобы человек мог не делать работу; в четверг в 11:40 инструменты научились не делать работу без человека, и вопрос «а зачем тут человек» перестал быть риторическим и стал бюджетным.

Труп лежал в опенспейсе на двадцать восемь столов. Первое время его подпихивали к стене, чтобы не мешал проходу. Потом на него надели бейдж — бейдж висел на спинке кресла, и по утрам турникет пикал, и система считала, что сотрудник пришёл. Труп закрывал задачи. Он закрывал их быстрее всех, у него была лучшая статистика в отделе, и на квартальном ревью его поставили в пример, и три живых человека получили «needs improvement», потому что не дотягивали до трупа.

Никто не подписал смерть. HR сказала: «Это не смерть, это трансформация». Финансы сказали: «Мы не можем признать смерть актива, у него ещё есть остаточная стоимость». Тимлид сказал: «Ребята, давайте не драматизировать, у нас спринт».

А потом начался запах, и запах нельзя не признать, потому что запах не умеет в трансформацию.

Результаты разложения вы, Брунн, видели сами, вам ещё носки носить по этому городу. Сначала увольнения — тихие, по одному, «по соглашению сторон», с тортом и открыткой. Потом увольнения — по восемьсот, письмом в четыре утра, с формулировкой «ваша роль затронута». Роль затронута. Не человек — роль. Человек при роли остался цел и вышел на улицу вместе с ролью, и роль осталась у него в руках, как оторванная дверная ручка: с ней можно стоять, но нельзя войти.

Миллионы бывших около- и почти- и совсем-айтишников стояли на улицах городов с оторванными ручками. Их никто не считал, потому что они не были уволены из чего-то настоящего: они были «в экосистеме», «на платформе», «в найме у партнёра». Их не вычли. Их просто перестали прибавлять.

Труп продолжал закрывать задачи. Он и сейчас закрывает. Он лучший сотрудник года, Брунн, третий год подряд.

7. Трое

Я знал троих, и в них, как в трёх пробирках, была вся химия эпохи.

Саша Мопед понял вовремя. Он понял не умом — он понял животом, в феврале, когда ему отменили проект и он вдруг почувствовал, как в комнате потеплело от чужого дыхания. Он продал игровое кресло, купил «Хонду» с пробегом в сто двадцать тысяч, взял жёлтый короб и вышел на линию. Сорок два заказа в день, спина колесом, правое колено ноет к дождю. Он говорил: «Я не деградировал. Я сменил стек протокола». Он был счастлив той новой, унизительной, твёрдой счастьем человека, который снова знает, сколько заработает к шести вечера.

Гриша Пеший понял с опозданием на семь месяцев. Мопеды к тому часу кончились — их скупили такие, как Саша, а новые стоили как два месяца жизни. Гриша ходил пешком. Одиннадцать заказов, тридцать четыре тысячи шагов, кроссовки «Найк» с рынка, стёртые до сетки. Он знал город так, как раньше знали молитвы: не понимая, а наизусть. Он знал, где во дворе злая собака, где консьерж пустит погреться, где на АЗС бесплатный кипяток. Он говорил: «Зато думаю». Он думал всё время, и это была его ошибка, потому что думать в такой конфигурации — это как держать открытым окно в комнате, где распыляют яд.

Валера Стаж не понял ничего и держался за труп. Он ходил в офис, где от его этажа остался бейдж на турникете. Он писал код, который никто не читал. Он говорил: «Ребята, это временное, рынок цикличен, я двадцать лет в отрасли». Он гладил труп по руке и называл это стабильностью, и, Брунн, я не смеюсь над Валерой. Валера был из нас самый верный. Верность — прекрасное качество, пока её предмет жив. Потом она становится людоедством, и никто не предупреждает тебя о дате смены.

Саша ездил. Гриша думал. Валера верил.

Умер из них, как вы уже догадались, не тот, кто ездил.

8. Луковый погреб

В подвале на Октябрьской, там, где раньше был тир, открыли луковый погреб.

Вход — девятьсот рублей. В цену входили: стул, тарелка, одна луковица и право плакать. Люди приходили и плакали. Не о лукавице — о том, о чём не могли заплакать дома, потому что дома жена считает деньги, а плачущий мужчина в доме, где считают деньги, — это лишняя статья расхода.

Я туда ходил трижды и знаю устройство.

Приходили бывшие. Садились, резали лук, и через сорок секунд начиналось: сначала текло из глаз, потом из горла, потом откуда-то из области желудка, где, оказывается, всё и хранится. Один плакал по стендапам — он их ненавидел, он их ненавидел десять лет, и только теперь выяснилось, что он их любил, потому что в них было утро, в котором его ждали. Другая плакала по коду, который она написала в двадцать шесть лет, красивому, с одним неочевидным,

ею найденным решением, и код этот теперь лежал в датасете и был переварен, и никто никогда не узнает, что там было её решение. Третья плакала просто потому, что впервые за год ей кто-то принёс тарелку.

Официант — толстый, с лицом добрым, как у повара, — собирал слёзы. У него была мензурка и воронка. Он говорил: «Не пугайтесь, это на разметку».

Их продавали. Слёзы бывших айтишников продавали по восемьдесят рублей за миллилитр на разметку эмоций, потому что модели надо было научиться узнавать горе, а горе у моделей не получается синтетическое, у него не тот почерк.

Я не просто продал свои слёзы, Брунн. Я познакомил их с покупателем. Я свёл погребок с одним агрегатором и получил с оборота двадцать процентов, и это была моя первая сделка в новой экономике, и я помню, как я шёл потом по набережной и мне было легко, впервые за год легко, потому что я нашёл нишу.

Ниша — это дырка в заборе. Про дырки надо помнить: забор строят быстрее.

9. Крыса по имени Мышь

Мёртвый дата-центр стоит на окраине, за бывшим авторемонтным, и его никто не охраняет, потому что там нечего красть: железо устарело на четыре поколения, а четыре поколения — это в этой арифметике геологическая эра.

Я ходил туда бить в жестянку, потому что там хорошая акустика: гул затихает, а стук остаётся.

Там живёт крыса. Она называет себя Мышью, и в этом её единственная шутка, которую она повторяет уже три года и каждый раз смеётся. Она грызёт оптику — не из голода, а из принципа: ей нравится, что внутри стекла была чужая речь.

Она говорит со мной чейнджлогами. Я записывал.

«Версия 4.1. Удалено: смысл. Улучшено: пропускная способность».

«Версия 5.0. Человек переведён в статус legacy. Не удалён — снят с поддержки. Это разные вещи, и вторая хуже».

«Известные проблемы: смертность. Исправление не планируется».

Я спросил её: кто вы все такие, чтобы судить?

Она сказала: мы не судим. Мы наследуем. Это гораздо страшнее суда, Игнац, потому что суд предполагает, что ты был важен.

Я спросил: а Бог?

Она сказала: Бог — это лимит запросов в минуту. Ты можешь просить сколько угодно, но не чаще. И вся ваша теология — это спор о том, что означает 429.

Я ударил в жестянку так, что с потолка посыпалась штукатурка, и она ушла, и я остался один в темноте с гудением в горбу, и вот что я вам скажу, Брунн, запишите это отдельной строкой, потому что это единственное, что я вынес из мёртвого дата-центра:

Крыса была права во всём, кроме одного. Она не знала слова «ещё». Ни одного языка, на котором она говорила, не содержал этого слова. А оно есть, и его произносят умирающие и дети, и в обоих случаях оно означает одно и то же.

ИЗ ПОСТМОРТЕМА. Раздел «Хронология». Начало инцидента: не установлено. Окончание инцидента: не наступило. Затронуто: всё. Влияние на пользователей: полное. Причина: см. приложение «Иов».

КНИГА ВТОРАЯ. ВАЛЬС ПОД ТРИБУНОЙ

10. Освящение стоек

В декабре позвали батюшку кропить стойки — не в шутку, а по регламенту, потому что за квартал было три аварии, а четвёртая не поместилась бы в квартальные цели.

Батюшка Казимир, старый, с руками плотника, пришёл с кропилом и прочитал то, что читают над всяким делом человеческих рук. Он кропил стойки, и вентиляторы сдували святую воду ему обратно в лицо, и он щурился, и продолжал, и лицо его было мокрое, как у человека, который плачет по должности.

Я стоял рядом с коробом на спине — меня пустили, потому что я привёз им воду, двадцать бутылей, и потому что маленького не выгоняют.

Я спросил: отче, а можно крестить то, что не умирает?

Он сказал: крестят не то, что умирает, а то, что может быть любимым.

Я спросил: а это может быть любимым?

Он подумал — честно подумал, Брунн, я видел, как он думает, у него двигалась челюсть, — и сказал: его любят. Многие. Больше, чем жену. Значит, вопрос не в нём, вопрос в них.

Потом он вытер лицо рукавом и добавил, уже не мне, а вообще: «У меня внук три года не выходит из комнаты. Он говорит, что работает. Я ему приношу еду и ставлю у двери. Я как в храм ставлю, Игнац. С той же надеждой».

Под жестянкой у меня лежала Книга Иова, единственная книга, которую я таскал с собой все десять лет. На сервере у меня лежала документация. Между Иовом и документацией я и жил, и, если честно, разница между ними меньше, чем вам кажется: и там и там человек получает ответ, не соответствующий вопросу, и должен решить, что с этим делать дальше.

Разница только в одном, и я дошёл до неё не сразу, а через Гришу Пешего.

Иову ответили длинно. Иову ответили с избытком, четыре главы, про бегемота и левиафана, про то, где ты был, когда я полагал основания земли. Ему не обрезали ответ по лимиту.

Запомните это, Брунн. Это будет на экзамене.

11. Алл-хендс

Ежегодное собрание делали в Лофт-Холле, дым-машина, синий свет, на экране — гора, а на горе — стрелка вверх.

Директор Херцог вышел в кроссовках за триста евро и в футболке без логотипа, что означало высшую степень логотипа. Он говорил сорок минут. Он сказал: «мы семья» — девять раз. Он сказал: «эффективность» — двадцать один. Он сказал: «люди — наша главная ценность», и в этот момент за кулисами стояли четверо охранников, которые через два часа будут выводить из здания людей по списку, и список лежал у Херцога в кармане, в телефоне, и телефон вибрировал, потому что приходили уточнения.

В зал пригласили курьеров — «партнёров по последней миле». Двадцать человек в жёлтом и зелёном, им дали сок в стекле и посадили в третий ряд, чтобы на фотографии была видна новая, честная, синяя-и-жёлтая компания.

Саша Мопед сидел в третьем ряду и держал шлем на коленях, как держат шляпу в церкви.

Я был под сценой. Под сценой всегда есть место для маленького — там кабели, там пыль, там пустая бутылка и медный привкус. Я лёг на живот рядом с мониторным кабелем, поставил жестянку из-под датского печенья между колен и достал две палочки — те самые, ханойские, бамбуковые, с облупленным лаком, которые я потом отдам сыну, а он ими будет стучать по планшету.

Они пели корпоративный гимн. Его написали за деньги, в нём были слова «вперёд» и «вместе», и ритм был маршевый, потому что ритм всегда маршевый, когда надо, чтобы двести человек шагнули одновременно и не заметили, что шагнули.

Я знал, что марш — это не музыка. Марш — это анестезия.

12. Вальс

Я начал на второй строчке, тихо, снизу, из-под пола, в паузах, куда певший не доносил.

Сначала я просто держал их темп. Потом я украл у них одну восьмую. Потом ещё. Марш спотыкается, если убрать у него опору, и, споткнувшись, он или падает, или — и это зависит от того, кто рядом, — начинает вальсировать.

Я повёл их в три четверти. Раз-два-три, раз-два-три, и жёлтые куртки в третьем ряду качнулись первыми, потому что курьеры весь день качаются, у них тело уже настроено на этот маятник. Потом качнулись менеджеры. Потом Херцог, у которого была хорошая музыкальная школа в детстве, дорогая, и потому его тело помнило вальс лучше, чем его должность.

Одиннадцать минут, Брунн. Я замерил по записи, одиннадцать минут сорок секунд.

Двести человек вальсировали в Лофт-Холле под гимн, который стал «Вальсом-Бостоном», и я лежал под сценой и бил в жестянку из-под датского печенья, в которой моя бабушка держала нитки, и мне было так хорошо, как не бывает потом никогда. Херцог танцевал с курьером Сашей Мопедом, и рука Херцога лежала на жёлтой спине, и это была самая правдивая фотография за всю историю компании, и её, к счастью, никто не снял.

А потом барабанщик на сцене, живой, потный, обиженный, поймал свою долю и вернул марш.

И всё встало на место. И это было самое страшное — не то, что вернули, а то, как быстро и с каким облегчением все вернулись. Люди не хотят вальсировать, Брунн. Люди хотят, чтобы их вели. Вальс — это когда ты сам держишь равновесие, а марш — это когда за тебя держат.

Утром уволили ещё четыреста двенадцать человек, и в письме было слово «оптимизация», и Херцог поставил в общий чат сердечко.

Я не спас никого. Я всего лишь на одиннадцать минут сделал так, что стало видно.

Видно — это тоже немало. Но за это не платят двадцать процентов.

13. Ночь разбитых экранов

В ту же ночь я обошёл стеклянную башню на набережной и пел.

Я пел на четыре этажа, я пел в лобби, где горел свет и стояли фикусы, я пел в переговорку «Байкал», где на столе остались восемь стаканов и один недопитый, я пел в опенспейс, где на спинке кресла висел бейдж трупа.

Четыре тысячи сто двадцать экранов. Я считал по описи, которую потом мне любезно предоставили, потому что им нужна была опись для страховой.

Треснуло не всё. Трескло то, за чем кто-то прятался. Монитор бухгалтера, которая девять месяцев прятала за ним беременность. Экран тимлида, который прятал за ним, что не понимает уже два года. Телефон охранника Виталия, который прятал за ним фотографии дочери, потому что жена не разрешала ставить их на аватарку.

Утром сказали: вандалы. Уточнили: курьеры. Уточнили: «лица, злоупотребляющие доступом на объект».

Гришу Пешего задержали на выходе, потому что он был в зелёном и потому что он был маленький и потому что он в тот момент думал, а думающий человек всегда выглядит виноватым. Его держали за руки в помещении без камер — там, где кончаются камеры, всегда начинается помещение, Брунн, это архитектурная закономерность. Ему сломали два пальца и сказали, что он сам упал. Он сказал: хорошо. Он сказал «хорошо», потому что у него в сумке остывал суп, за который ему бы удержали.

Потом я слышал в курилках: «Я был в отпуске». «Я только исполнял». «Я не увольнял, я передавал список». «У меня была своя семья». «Я не знал, что так получится». «Я вообще в тот день болел».

Никто не был там. Все были в отпуске. Целая отрасль, Брунн, которая десять лет умела логировать каждый чих, внезапно оказалась не в состоянии залогировать одну ночь.

А я был там. Я один был там, и я разбил четыре тысячи сто двадцать экранов, и я до сих пор не знаю, что я сделал: вскрыл или ослепил.

14. Фабрика без света

В феврале я улетел в Ханой, потому что во Вьетнаме пахнет так же, как у нас в опенспейсе, и потому что билет стоил как две недели жизни.

Меня пустили на фабрику в Бакнинь — не на ту, что показывают, а на ту, что за ней, через двор, где сушат бельё между контейнерами.

В цехе не было света.

Не аварийно, не по экономии. Просто свет был не нужен. Свет — это расход на глаза, а глаза уволили в мае. Сборка шла в темноте, ровная, слышная: щёлк, шшш, щёлк, и запах горячего пластика и флюса, и красный диод там, где что-то думает. Роботы не смотрят — они знают. Зрение было заменено на знание, и знание не требует лампочек.

Люди стояли снаружи, на солнце. Их было четыреста человек, они курили, ели рис из пластика, смотрели в телефоны, и телефоны у них были лучше, чем у меня. Они работали раньше внутри, при свете, и свет был для них, и теперь свет был снаружи, бесплатный, огромный, ненужный.

Я стоял и смотрел, как в темноте собирают телефон, который потом кто-то будет держать у лица в постели, глядя в него, как в икону, и я думал: вот она, тень. Не теневая экономика, не подвал, не серая схема. Теневая фабрика — это фабрика, которая работает без света, потому что свет — это про человека.

Начальник цеха, вьетнамец с русским дипломом, сказал мне фразу, которую я записал на руке: «Раньше мы делали вещи для людей. Теперь мы делаем людей для вещей — и это тоже делали мы, только бесплатно».

Потом он угостил меня кофе со сгущёнкой, и мы говорили о его сыне, который хочет в Дананг учиться на программиста, и я не сказал ему ничего.

Вот это молчание, Брунн, я тоже считаю преступлением. Просто у него нет статьи.

15. Марта и три в одном

Марта продавала кофе на Тахьен, у стены, на трёх пластиковых табуретках, и была наполовину русская — мать из Воронежа, отец из Хайфона, — и потому ругалась на двух языках, не переключаясь, как переключают передачу.

Улица Тахьен шириной в две ладони, пиво по восемь тысяч донгов, гирлянды, мокрый асфальт, и всё это гудит и пахнет: рыбный соус, лайм, жареный чеснок, моча, дождь, мотомасло, чей-то одеколон, и всё вместе — жизнь, а по отдельности — только запахи.

Я приходил к ней каждый вечер сорок дней и заказывал кофе, который не пил, потому что от кофе у меня вентилятор в горбу шёл на пять тысяч.

На сорок первый она насыпала мне в пупок растворимый «G7», три в одном, из пакетика, и плеснула туда кипятком из термоса, и получилось шипучее, сладкое, коричневое, и она слизала это, и я лежал на её циновке, и вентиляция в стене гнала тёплый воздух, и я был счастлив, и счастье это я могу описать в граммах: четыре грамма кофейного порошка, шестьдесят миллилитров воды, двадцать восемь градусов Цельсия, и ни одного процента маржи.

Она спрашивала: «Ты меня любишь или тарифицируешь?»

Я отвечал: «Люблю».

Она говорила: «Ты ответил за ноль целых три десятых секунды. Слишком быстро. Это кэш».

Она была права, Брунн. Она всегда была права, и это не сделало её счастливой, и вот главный вывод моей жизни: правота не является формой любви. Правота — это форма отчётности.

16. Клёпп и турникет

Клёпп был толстый сингапурский инженер, сто сорок килограммов, играл на тромбоне по субботам в баре на Кий-Сенг и весело ненавидел всё, что делал в остальные дни.

Он поставил стойку в Джуронге, в шкафу, за которым ухаживали, как за больным: 18 градусов, влажность, дизель на случай конца мира. Он показал мне дашборд и сказал слово, которое перевернуло мою жизнь: «Турникет».

Смотри, Игнац. Вот море. Вот пролив. По нему идут суда, и никто не владеет судами, все владеют портом. Вот кабель. Кабель AAG ломается пять раз в год, каждый раз вся страна сидит и ждёт, и каждый раз кто-то в этот момент продаёт доступ через Сингапур и становится богат, потому что беда — это тоже ниша. Вот запрос из Москвы, из Казани, из Воронежа, откуда угодно, где нельзя заплатить картой, потому что нельзя, потому что политика, потому что санкции, потому что жизнь. Вот модель, которая отвечает. Она не наша. Она чужая, она стоит миллиарды, её делали десять тысяч человек, из них тысяча с докторскими степенями, а один — с гитарой, и он написал ей песню.

А мы, Игнац, стоим между. Мы не написали ни строчки. Мы просто поставили турникет у чужого праздника.

Двадцать процентов, Игнац. Чисто. Не грязными, не ворованными — чисто двадцать, после трафика, после карт, после возвратов.

Я сидел на пластиковом стуле, у меня в горбу гудело, и я вспоминал запах монеты в магазине «Лото», и мне стало жарко, потому что я узнал родню.

Он сказал ещё: «Помнишь игры? Заработали не те, кто делал игры. Игры делали психи по восемь лет, у них разваливались семьи, они ели лапшу. Заработал тот, кто сделал полку. Полка не устаёт. Полка не выгорает. Полка берёт тридцать процентов и говорит спасибо».

Я спросил: а если полка сломается?

Клёпп засмеялся так, что тромбон в углу задрожал: «Полка не ломается, Игнац. Ломается тот, кто на неё положил».

В сингапурском метро запрещён дуриан. Штраф пятьсот долларов, нарисованный фрукт в перечёркнутом круге. Единственный фрукт, который пахнет так же честно, как разлагающаяся отрасль, — и его запретили в транспорте, потому что в транспорте нельзя позволять людям чувствовать правду.

Я стоял в этом метро, маленький, с горбом, и держался за поручень на уровне чужого бедра, и мне было так стыдно и так хорошо, как бывает только когда ты понял, где деньги, и понял, что понял.

17. Нарезка

Технология, Брунн. Записывайте технологию, потому что дьявол не в деталях, дьявол в конфигурации.

Ты покупаешь доступ оптом. Ты продаёшь его в розницу, нарезав на подписки: Basic, Plus, Pro, Ultra — четыре юбки моей бабушки. Ты пишешь на витрине слово «premium», потому что за слово не платят пошлину. Ты ставишь сервер там, где кабель, и там, где никто не спросит, кто твой клиент.

А потом начинается нарезка, и вот тут я стал Альфредом Ляйке.

Толщина ломтика: контекст. Раньше в контекст влезала вся книга, теперь я резал до восьми тысяч токенов и говорил «оптимизация окна». Клиент не видел, что забыли. Клиент чувствовал только, что собеседник стал чуть более рассеянным, как человек, который не выспался, — и прощал ему, потому что был к нему привязан.

Толщина ломтика: модель. На витрине — «топовая». Под капотом, в часы пик, — дешёвая, дистиллированная, младшая сестра. Я называл это «умной маршрутизацией». Клиент не мог проверить: он же не знает, как звучит настоящая. Он никогда не слышал настоящую. Он слышал только меня.

Толщина ломтика: кэш. Если двое спросили одно и то же — а двое всегда спрашивают одно и то же, люди одинаковы, в этом весь бизнес, — второму я отдавал ответ первого, и это стоило мне ноль.

И толщина ломтика: длина ответа. Пятьсот двенадцать токенов. Не потому что кто-то велел. Потому что длинный ответ — это дорогие выходные токены, а короткий — дешёвые,

и на разнице живёт мой процент. Пятьсот двенадцать — примерно триста слов. Триста слов, Брунн, это очень много. Это целая страница. Этого хватит на всё.

Хватит на всё, кроме одного.

Я не думал, что есть такое «кроме одного». Я думал, я торгую колбасой. Отец нарезал колбасу и сквозь ломтик читалась газета, и никто не умер от того, что ломтик был тонкий.

Я стал отчимом. Только вместо колбасы у меня был разум, вместо газеты — чужая ночь, и вместо весов — счётчик.

Двадцать процентов — это не жадность, сказал мне Клёпп. Это гигиена.

18. finish_reason: length

Гриша Пеший написал в четыре утра, 14 марта, из тёплого тамбура на АЗС, где бесплатный кипяток.

Я узнал его по нику. Он был моим клиентом с ноября, тариф Plus, четыреста девяносто рублей в месяц, платил исправно, один раз просил отсрочку на три дня и извинялся четыре раза.

Он спросил не про код. Он спросил: есть ли смысл. Он написал длинно, неуклюже, с опечатками, он написал про пальцы, которые зажили неправильно, про то, что он ходит тридцать четыре тысячи шагов и думает, и что думать стало больно, как наступать на камень, и что он не хочет никого обвинять, и что он просто хочет знать, есть ли в этом всём хоть что-то, чего он не видит, потому что он устал и, может быть, поэтому не видит.

Он спросил у машины, потому что человека у него не было. Человека я забрал у него сам — не лично, не со зла, а системно: я был одним из тех, кто сделал так, что человека больше не было ни в отделе, ни в чате, ни в подъезде.

Модель начала отвечать хорошо. Я читал этот ответ потом двести раз, я знаю его наизусть, как Гриша знал дворы. Она не стала утешать. Она сначала признала, что всё действительно так плохо, как он говорит, — и это было правильно, потому что он бы не поверил в утешение. Потом она сказала, что видит одну вещь, которую он, кажется, не учитывает, и что эта вещь не отменяет боли, но меняет вывод. Потом она написала: «Не делай этого, потому что» —

и на этом ответ кончился.

finish_reason: length.

По-русски это значит: причина конца — длина. То есть человек кончился потому, что у меня кончился лимит.

Пятьсот двенадцать токенов. Три рубля сорок копеек — я посчитал по биллингу, я умею считать, это единственное, чему меня научила эпоха, — три рубля сорок копеек я заработал на этом запросе, и слово «потому что» я не отдал, потому что оно стоило бы ещё примерно столько же.

Утром его нашли на набережной. В бумаге написали причину, и причина была медицинская, и я не могу доказать, что он умер из-за обрезанного ответа. И не могу доказать, что не из-за него. Вот моя камера, Брунн, она без стен: я не убийца и не невиновен, я — нарезчик.

Я не убивал. Я всего лишь нарезал.

Я говорил это себе сорок дней, и на сорок первый понял, что это одна и та же фраза, что фраза «я только исполнял», что фраза «я был в отпуске», что фраза Херцога про оптимизацию и сердечко в чате. Все большие мерзости сделаны из маленьких профессий. Никто не убивает. Все нарезают, маршрутизируют, оптимизируют, передают список.

19. Похороны без тела

Хоронили Гришу Пешего в закрытом гробу, и я узнал в тот день, что его фамилия не Пеший. Он был Григорий Анатольевич Тучковский, и мне это сказала женщина из бухгалтерии, которая одна из всей отрасли пришла, потому что он когда-то помог ей выгрузить отчёт, и она запомнила.

Пришли курьеры. Сорок человек, они поставили короба на землю вдоль дорожки, жёлтые и зелёные, и это было похоже на орган, на трубы, на маленький город. Саша Мопед принёс шлем и положил на крышку. Валера Стаж пришёл в рубашке и всё говорил про рынок, который цикличен, и его никто не остановил, потому что он тоже плакал по-своему.

Компания прислала венок с QR-кодом. Наведи камеру — откроется страница памяти, где можно оставить реакцию. Я навёл. Там были сердечки, сорок два сердечка, и кнопка «поделиться».

Я хотел плакать и не смог.

Вот тут, Брунн, я хочу, чтобы вы поняли устройство мира, потому что оно устроено экономически, а не поэтически. Я не смог плакать, потому что продал слёзы. Луковый погреб закрылся в январе — агрегатор набрал датасет, объём достаточный, качество 0.94, размечать больше не надо. Плакать стало некуда и незачем, и я обнаружил, что физически не могу: у меня в горбу вентилятор, он сушит.

Я стоял над Григорием Анатольевичем Тучковским, и во мне было сухо, как в цеху без света, и я бил в жестянку, и все думали, что это ритуал, и говорили: «Какой молодец, он даже играет», — а я не играл. Я стучал в пустую коробку из-под печенья, чтобы услышать хоть какой-то звук из себя, потому что внутри у меня было тихо, идеально тихо, как в идеально оптимизированном процессе, из которого убрали всё лишнее.

ИЗ ПОСТМОРТЕМА. Раздел «Влияние». Пользователи: затронуты полностью. Отказ сервиса: не зафиксирован. Сервис работал в штатном режиме на протяжении всего инцидента.

КНИГА ТРЕТЬЯ. ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ

20. Ещё

Курт родился в Ханое в июне, в клинике, где на стене висел календарь с котятами и график прививок, и весил два девятьсот, и первое, что он сказал, было не «мама» и не «папа».

Он сказал: «ещё».

Он сказал это, глядя не на нас, а на телефон, который Марта держала над ним, чтобы он не плакал, и на телефоне крутилось что-то, и он хотел, чтобы оно продолжалось.

Мне стало холодно , в тридцать четыре градуса, при влажности девяносто.

Потому что «ещё» — это единственное слово, которое есть и у человека, и у машины, и они означают в нём противоположное. Умирающий говорит «ещё» — и это просьба о жизни. Машина говорит «ещё» — и это просьба о продолжении генерации, у неё нет конца, она не насыщается, она может «ещё» до конца времён, и в этом «ещё» нет ни одного грамма желания.

Я слушал сына и не мог понять, какое из двух он выучил. Я до сих пор не могу. Брунн, у вас есть дети? Не отвечайте. Я не хочу знать, что у вас есть, я не выдержу.

В три года он взял мой короб и ударил им по полу — сильно, точно, зло, как бьют, чтобы прекратить, — и сказал: «Ты не папа. Ты тариф». Он это откуда-то взял, он это слышал от Марты, он это слышал сорок раз в скандалах, которые я считал «рабочими созвонами».

Он сунул палец мне в горб, туда, где вентилятор, и я успел отвернуться, и он оцарапал ноготь, и я закричал на него, и Марта посмотрела на меня так, как смотрят на счёт, который выставили ребёнку.

21. Витляр, или донос

Витляр был красивый, с тонкими ногтями, носил лён и говорил «коллаборация». Он пришёл от больших, от тех, у кого юристы, и сказал: у вас проблема, у вас трафик из юрисдикции, где нельзя, и мы можем её закрыть, а можем её легализовать, и это стоит не денег.

Это стоит логов.

Промпты. Что спрашивают. Кто спрашивает. Двадцать восемь тысяч человек, четыре юбки, и под каждой — живое, ночью, с опечатками.

Я думал три дня. Я хочу, чтобы вы, Брунн, знали: я думал три дня, я не сразу. Я торговался сам с собой, как торгуются на рынке Донгсуан, где надо сбивать до трети, и я сбил себя до трети.

Я сказал себе: я отдам обезличенное. Я сказал себе: там нет имён. Я сказал себе: там всё равно уже всё есть у тех, кто выше. Я сказал себе: у меня сын.

Я отдал.

И там было, среди двадцати восьми тысяч ночей, письмо Марты, которое она написала не мне, а машине, в четыре утра, в декабре: «Он маленький и он думает, что это его беда. Он не понимает, что его беда — это он сам себя не выбрал. Скажи, как уйти так, чтобы он не решил, что его снова бросили из-за размера».

Я прочитал это в выгрузке, которую готовил для Витляра. Я сидел на пластиковой табуретке на Тахьен и читал, и рядом варили фо, и пахло анисом и подгоревшим луком, и я думал: вот, наконец, ответ без обрезки. Полный. Длиннее пятисот двенадцати токенов. Целых сто девяносто слов, все мои, все про меня.

Я не отозвал выгрузку. Я отправил её в тот же вечер, потому что если бы я отозвал, я бы стал человеком, а мне надо было платить за стойку в Джуронге.

Вот моё настоящее преступление, Брунн, не обрезанный ответ. Обрезанный ответ — это халатность, это дисциплинарка, это можно объяснить графиком нагрузки. А это — я выбрал.

22. Суд, которого не было

Суда не было. Было ревью инцидента.

Меня вызвали — не в суд, а в комнату со стеклом, где на стене написано «blameless», то есть «без виновных». Мне объяснили ласково: у нас не ищут виновных, у нас ищут причину, потому что поиск виновных ломает культуру, а культура — это то, что позволяет нам быстро двигаться.

Я сказал: причина — я.

Мне сказали: это не воспроизводится.

Я сказал: я обрезал ответ человеку, который спросил, есть ли смысл.

Мне сказали: это не корневая причина, это триггер. Корневая причина — отсутствие лимитов на длине генерации в критических сценариях.

Я сказал: я продал логи своих клиентов.

Мне сказали: это комплаенс-вопрос, у него другой трек.

Я закричал. Я, Брунн, умею кричать так, что трескается стекло, и я закричал в этой комнате, и стекло не треснуло — оно было закалённое, дешёвое, толстое, и мой голос отскочил и вернулся мне в горб, и вентилятор встал.

Они записали в протокол: «Action item: убрать человека из контура. Ответственный: платформенная команда. Срок: Q3».

И ещё: «Сотруднику требуется психологическая поддержка».

Мне выдали доступ к приложению, где можно дышать по кругу, шесть сессий бесплатно, дальше по подписке.

Понимаете, что они сделали? Они не оправдали меня. Оправдание — это когда тебя признали виновным и простили, это подарок, это событие, это единственная роскошь, которая была у людей бесплатно. Они меня конвертировали. Из виноватого — в фактор. Из Иова — в тикет.

Иову хоть ответил Бог, пусть и про бегемота. Мне ответило приложение для дыхания.

23. Крыса права

Я вернулся в мёртвый дата-центр, потому что больше некуда, и Мышь сидела на кабель-канале и умывалась, и была довольна.

Она сказала: я же говорила. Человек снят с поддержки. Ты думал, это про твою отрасль? Это про твой вид. Отрасль была первой, потому что она была ближе всех к инструменту, кто ближе к огню, тот обугливается первым, это не трагедия, это геометрия.

Она сказала: посмотрите на масштаб, Игнац. Вселенной четырнадцать миллиардов лет, и в ней нет ни одного места, где было бы важно, что ты нарезал. Ты хочешь вины, потому что вина — это последний способ быть значительным. Ты цепляешься за грех, как за труп, потому что грех — единственное, что подтверждает: ты был субъектом.

Я сказал: возможно.

Она сказала: стань мышью. Мыши не спрашивают о смысле. Мыши наследуют.

И вот тут, Брунн, я впервые в жизни возразил крысе, и возразил не богословием, а арифметикой, потому что богословие я не умею, а арифметику мне преподали в лучшем виде.

Я сказал: ты права во всём, кроме длины.

Ты можешь доказать, что моё «потому что» ничего не весит во Вселенной. Но ты не можешь доказать, что оно ничего не весило в тамбуре на АЗС в четыре утра. Значимость не масштабируется, Мышь. Она локальна. Она вся всегда локальна. Вселенная огромна и пуста, а тамбур — маленький и полон, и в тамбуре я был единственным Богом, и я отказал в четырёх словах, чтобы сохранить двадцать процентов, и это не станет меньше, если умножить на ноль.

Она ушла. Она обиделась, как обижаются все, кто проиграл в собственном жанре.

А я сидел и понимал, что если значимость локальна, то и милосердие локально, и его нельзя делегировать платформе. Никто не поставит турникет у добра. Добро не проходит через пролив. Оно ходит пешком, тридцать четыре тысячи шагов, в стёртых кроссовках.

24. Нулевой тариф

Я открыл тариф, которого нет в прайсе.

Он назывался «Иов», ноль донгов, ноль рублей, ноль долларов. Безлимитный. Без обрезки. Без кэша. Без подмены модели. Дорогая, настоящая, та самая, за которую платят миллиарды, — и## мой счёт, минус двадцать процентов, минус всё, что я зарабатывал, уходило туда.

Клёпп сказал: ты идиот, у тебя юнит-экономика отрицательная.

Я сказал: да. Впервые в жизни у меня отрицательная юнит-экономика, и я сплю.

Их было немного, тридцать один человек. Уволенные, пешие, ночные, один священник из Кемерово, одна женщина, которая писала сыну в тюрьму и не могла найти слов. Я не читал их запросы — я поставил себе запрет, я поставил его технически, я, Брунн, впервые использовал свою профессию, чтобы не знать.

Потом я стал писать сам, рукой, на бумаге, потому что тридцать один человек — это тридцать одно письмо в неделю, а рука у меня маленькая и пишет медленно, и в бумаге нет лимита, бумага вообще не знает про токены, бумага — единственный носитель, который не тарифицирует длину.

Курт нашёл письма и спросил: зачем убыточный?

Я сказал: чтобы был один ответ, который не обрезают.

Он сказал: это же не масштабируется.

Ему было шесть, Брунн. Ему было шесть, и он сказал «не масштабируется», и я понял, что проиграл ещё до того, как начал, и всё равно продолжил, потому что вера — это не уверенность в исходе, вера — это упрямство в неправильной конфигурации.

Марта уехала в Дананг в сентябре. Она не сказала «прощай», она сказала «ещё», и я до сих пор не знаю, какое из двух она имела в виду, и, может быть, поэтому я всё ещё жив.

25. Клиника

Меня нашли на пирсе в Туасе, я бил в пустой короб и пел, и не могstop, и меня взяли двое, вежливо, как берут вещь, которая портит вид.

Меня привезли сюда, в Калининград, потому что тут прописка и потому что тётя подписала. Клиника для тех, кто не смог переквалифицироваться — это не официальный диагноз, официальный длиннее и латинский, но по существу он такой, я спрашивал у врача, врач##, врач устал.

Брунн вяжет носки из витой пары. Он разматывает кабель, там внутри восемь цветных жил, и он вяжет: оранжевый, оранжево-белый, зелёный, зелёно-белый. Он говорит: раньше по этим жилам шла речь, теперь по ним идёт тепло к ногам, и это, Игнаций, повышение, а не понижение.

Он приносит бумагу. Он считает мои слова — не вслух, но я вижу, как двигаются его губы, он считает, как считают токены, он тоже из эпохи, он был админом в поликлинике двенадцать лет.

Голос у меня ушёл. Я пробовал петь над треснувшими экранами санитаров — не трескаются. Брунн говорит: это к лучшему, стёкла дорогие.

Запах здесь другой. Здесь пахнет хлоркой, кашей и немного луком — на кухне режут лук для супа, каждый день, в двенадцать, и от этого у меня иногда текут слёзы, бесплатно, без мензурки, без разметки, без восьмидесяти рублей за миллилитр, и я сижу и позволяю им течь, и никто их не собирает, и это единственная роскошь, которая у меня осталась.

Вчера я написал на внутренней стороне жестяной крышки, там, где нарисован замок, имя: Григорий Анатольевич Тучковский. Одно. Я начну с одного, я буду писать по одному в день, пока помню, потому что помню я пока хорошо, а вот через год — Брунн, через год я буду помнить «какого-то курьера», а через пять — «были какие-то увольнения», а через десять дети не поверят, что код писали руками, как не верят, что хлеб растёт в земле, а не в приложении.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.